

Патриций

Автор:

Джон Голсуорси

Патриций

Джон Голсуорси

«Патриций» – роман о жизни и любви английской аристократии; любви трагической, любви, переворачивающей всё с ног на голову, любви, которую высший свет клеймит как позорную слабость.

Джон Голсуорси

Патриций

«Нрав человека – его рок»

Часть первая

Глава I

Первый луч зари, проникший в большую залу, такую высокую, что лепной потолок ее казался недоступным взору, с задумчивым, холодным любопытством оглядел эту причудливую кладовую Времени. Свободный от предубежденности, свойственной человеческому взгляду, он отмечал одну за другой странные

несообразности, словно освещая бесстрастный ход самой истории.

В этой столовой – одной из красивейших в Англии – Карадоки, поколение за поколением, веками копили свои реликвии и трофеи. Они строили и разрушали и вновь отстраивали все вокруг стен этой залы, пока усадьба Монкленд не обрела некоего единства и цельности. Лишь этот покой, возведенный древними строителями, остался нетронутым и сохранил в своей почти монастырской строгости отпечаток их суровых душ. И в свете заглянувшей сюда зари все явственнее проступали трогательные свидетельства столь присущей человеку жажды утвердить себя в веках – все, что некогда было его жизнью, фетиши, причудливые атрибуты верований, – но видны становились также и следы безжалостной руки Времени.

Летописец нашел бы здесь все нужные ему доказательства; психолог безошибочно распознал бы черты высокого происхождения; философ проследил бы путь развития аристократии – от первобытной грубой силы или ловкости через века могущества к живописному упадку. Даже художник мог бы уловить здесь едва угадываемый, невыразимый словами дух дома, точно в древнем соборе, где, кажется, так и слышишь, как бьется его старое сердце.

От легендарного меча, принадлежавшего тому валлийскому вождю, который с помощью искусного, щедро вознагражденного вероломства вошел в доверие к Вильгельму Завоевателю и, женившись на вдове некоего норманна, взял за ней обширные земли в Девоншире, и до кубка, вкладчину преподнесенного Джеффри Карадоку, нынешнему графу Вэллису, его девонширскими арендаторами по случаю его женитьбы на леди Гертруде Симмеринг, – все было здесь, кроме портретов предков, висевших теперь в лондонском особняке Вэллисов. Здесь хранилась даже древняя копия выцветшей, полуистлевшей грамоты, которою король жаловал земли и титул Джону, самому блестящему из Карадоков, ибо по забавной оплошности, какой избежал редкий из древних родов, сей Джон, к несчастью, не озаботился родиться от законного брака. Да, она была здесь, открыто вывешенная на стене, так как случай этот, несомненно волновавший умы в пятнадцатом веке, ныне служил лишь темой для анекдота, тем более потешного, что среди фермеров соседнего прихода можно было наверняка встретить потомков «единокровного» брата Джона – Эдмунда.

Продолжая свой путь, луч зари соскользнул с развешенного на стене оружия, на тигровые шкуры, вывезенные всего лишь год назад из Индии Берти, младшим

сыном Карадоков, как бы напоминая, что те, кому некогда принадлежало первенство по простому закону природы, венчающей своими благами дерзновенных и сильных, ныне, оттесняемые от основного потока жизни нации, вынуждены искать повода для дерзаний, чтобы не разувериться в своей силе.

Беспощадный луч раннего летнего утра отметил немало других перемен, скользя со строгих гобеленов на бархатистые ковры, свидетельствующие о здравом смысле нынешней знати, отказавшейся от аскетизма предков. Но тут, словно наскучив собственным критическим бесстрашием, заря пожелала одеть все вокруг в колдовской убор: взошло солнце, и в окна, обращенные к востоку, хлынул ровный и несказанно радостный свет. А вместе с ним влетел шмель и устремился прямо к цветам на столе, стоявшем поперек комнаты, за который садились лишь, если гостей бывало немного.

Безмолвно текли часы, и солнце поднялось уже довольно высоко, когда в зале появились первые посетители – три горничные, румяные и говорливые, с половыми щетками в руках. Их сменили два ливрейных лакея, предвестники завтрака; минуту они постояли в молчаливом созерцании, как и положено респектабельным слугам, затем принялись степенно накрывать на стол. Потом заглянула – нет ли тут чего интересного – девчурка лег шести, Энн Шроптон, чадо сэра Уильяма Шроптона и леди Агаты, старшей дочери хозяина дома, пока единственной из четверых молодых Карадоков вступившей в брак. Энн вошла на цыпочках, в надежде захватить врасплох какое-нибудь чудо. На ее круглом личике с вздернутым дерзким носиком сияли ясные, широко распахнутые карие глаза. Полотняное платье, лишь слегка схваченное поясом ниже талии, словно подчеркивало ее полную свободу, и, должно быть, все в жизни казалось ей веселым и забавным. Скоро она и вправду заметила нечто интересное.

– А вон шмель!.. Как по-вашему, Уильям, он приручится, если посадить его в стеклянную коробочку?

– Не думаю, мисс Энн. И берегитесь, как бы он вас не ужалил.

– Меня не ужалил.

– Почему же?

– Потому что.

- Ну, конечно... раз вы так полагаете...
- А когда дедушка велел подать автомобиль?
- В девять часов.
- Я поеду с ним до самых ворот.
- А если он не позволит?
- Ну... тогда я все равно поеду.
- Вот как?
- Я могу с ним ехать до самого Лондона. А тетя Бэбс едет?
- Нет, кажется, его светлость едет один.
- Вот если бы она поехала, и я бы с ней. Уильям!
- Слушаю.
- Дядю Юстаса непременно выберут?
- А как же иначе?
- Как по-вашему, он будет хороший член парламента?
- Лорд Милтоун очень умный, мисс Энн.
- Правда?
- А, по-вашему, разве нет?

– А Чарлз как думает?

– Спросите его сами.

– Уильям!

– Слушаю.

– Мне не нравится в Лондоне. Мне нравится здесь, и в Кэттоне, и дома очень нравится, и я люблю Пендридни... и... и мне нравится Рэйвеншем.

– Я слышал, его светлость собирается по дороге заехать в Рэйвеншем.

– Ой! Он увидит прабабушку. Уильям...

– А вот и мисс Уоллес.

В дверях стояла невзрачная женщина с тусклым, исполненным терпения лицом.

– Пойдем, Энн, – сказала она.

– Иду... Здравствуйте, Симмонс!

– Здравствуйте, мисс Энн! – ответил, входя, дворецкий.

– Мне надо идти.

– Мы все очень сожалеем.

– Ну, конечно.

Дверь легонько стукнула, и просторная зала снова погрузилась в деловитую тишину последних приготовлений к трапезе. Но вот четверо хлопотавших у стола слуг разом отступили. Вошел лорд Вэллис.

Он шел медленно, не отрывая спокойных серых глаз от газеты, и меж его бровей залегла непривычная складка. У него были жесткие волосы и усы, в которых уже проступала седина, лицо загорелое и все же румяное, мужественное лицо человека, который знает, чего хочет, и довольствуется этим, и вся его фигура, ладная, подтянутая, с отличной выправкой, и посадка головы – все подтверждало, что это человек не то чтобы самодовольный, но вполне довольный своим образом жизни и мыслей; Его манера держаться с очевидностью выдавала ту особенную непринужденность, которой обладают люди, постоянно находящиеся на виду, привыкшие не отказывать себе в жизненных благах и удобствах и свободные от необходимости заботиться о мнении окружающих. Он сел на свое место и, все еще не отрываясь от газеты, принялся за еду; он не сразу заметил, что вошла и села рядом с ним его старшая дочь.

– Досадно уезжать из дому в такую погоду, – сказал он наконец.

– Заседание кабинета министров?

– Да. Все та же канитель с аэростатами.

Но темные на нежном узком! лице глаза Агаты в эту минуту озабоченно оглядывали стоявший на буфете особый поднос, на котором кушанья не остывали. «Пожалуй, – думала она, – такой поднос куда лучше наших. Лишь бы только Уильяму эти большие подносы пришлись по душе». Все-таки она спросила своим мягким голосом – ибо и говорила и двигалась она очень мягко, почти робко, пока дело не касалось благополучия ее мужа или детей:

– Как ты думаешь, папа, эти страхи, что будет война, помогут Юстасу пройти в парламент?

Но отец не ответил: он здоровался с только что вошедшим высоким молодым человеком, красивым, темноволосым, с усиками, чем-то напоминавшим его самого, хотя ни в каком родстве они не состояли. Правда, в наружности Клода Фресни, виконта Харбинджера, без сомнения, было еще и нечто норманское – правильные черты лица, орлиный нос. Кроме того, то, что казалось естественным в манерах старшего, у младшего выглядело одновременно и как чрезмерная самоуверенность и как излишняя связанность, словно он все время был настороже.

Следом вошла высокая, полная, видная женщина с темными еще волосами сама леди Вэллис. Хотя ее старшему сыну уже минуло тридцать, ей самой было лишь немногим больше пятидесяти. Ее голос, осанка, весь облик свидетельствовали о том, что когда-то она была признанной красавицей; но это жизнерадостное лицо с большими серо-голубыми глазами уже утратило свежесть красок, и теперь не оставалось сомнений, что молодость ее позади. В каждой ее черточке, в каждой нотке голоса чувствовалась живая, общительная и притом подлинно светская женщина. Видно было, что это широкая натура, одаренная кипучей энергией, не лишенная чувства юмора, привыкшая к здоровой жизни на свежем воздухе. Она-то и ответила Агате:

- Конечно, дорогая. Ничего не может быть лучше.

- Кстати, Брэбрук собирается разразиться речью на эту тему, - вмешался лорд Харбинджер. - Вы его когда-нибудь слышали, леди Агата? «Мистер спикер, сэра, я встаю, и вместе со мной встают во весь рост демократические принципы».

Агата улыбнулась, но ее мысли были заняты другим: «Если сегодня я позволю Энн доехать до ворот, завтра ей этого будет уже мало». Чуждая каких-либо общественных интересов, она все унаследованное от предков стремление властвовать обратила на мелочную опеку над чадами и домочадцами. Это стало ее религией, ее страстью, - она ощущала себя как бы хранительницей британского домашнего очага, главою некоего патриотического движения.

Покончив с завтраком, лорд Вэллис поднялся.

- Что-нибудь передать твоей матушке, Гертруда?

- Нет, я только вчера ей писала.

- Скажи Милтоуну, чтобы не упускал из виду этого мистера Куртье. Я однажды его слушал... Весьма недурной оратор.

Леди Вэллис, еще не садившаяся за стол, проводила мужа до дверей.

- Кстати, Джеф, я рассказала матушке о той женщине.

– Это было необходимо?

– Думаю, что да. Мне как-то тревожно... А матушка имеет кое-какое влияние на Милтоуна.

Лорд Вэллис пожал плечами, легонько стиснул локоть жены и вышел.

Он и сам смутно тревожился, но он был не из тех, кто спешит навстречу неприятностям. У него, казалось, совсем не было нервов, как у многих людей его круга, привыкших иметь дело с лошадьми. По самому складу характера он полагал, что поистине довлеет дневи злоба его. Притом отношение старшего сына к женщинам было для него загадкой, над которой он давно перестал ломать голову.

Он вышел в холл и задержался на мгновение, вспомнив, что еще не видел сегодня свою любимицу – младшую дочь.

– Леди Барбара еще не сошла вниз?

Узнав, что дочь не выходила, он надел дорожное пальто, поданное Симмонсом, и вышел на белое широкое крыльцо, над которым красовались высеченные из камня ястребы – герб Карадоков.

Сквозь приглушенный шум мотора до него донесся звонкий голосок Энн:

– Скорей, дедушка!

Губы лорда Вэллиса скривились под жесткими усами: странно слышать слово «дедушка», когда тебе всего-навсего пятьдесят шесть, а чувствуешь себя еще моложе, – и, махнув рукой в перчатке в сторону Энн, он сказал Симмонсу:

– Пошлите кого-нибудь к воротам за этой особой.

– Нет, я вернусь одна, – решительно объявила Энн. Мотор взревел, положив конец спору.

Лорд Вэллис в автомобиле был выразительной иллюстрацией пагубного вторжения науки в старинный уклад жизни. Любитель скачек, которого – после политики – больше всего на свете занимали лошади, недавно получивший звание Почетного Охотника, он, однако, обладал достаточной долей здравого смысла чтобы не только терпеть, но и принимать, даже поддерживать то, что содействовало вытеснению лошадей. Инстинкт самосохранения потихоньку подталкивал его к гибели, нашептывая, что науку, одерживающую одну победу за другой над грубой природой, можно как-то обратить на служение тому престижу, который покоится на неизменном, вполне устойчивом основании. Это постоянное стремление идти в ногу с веком, увлечение плодами научных открытий, все убыстряющийся темп жизни, когда все время скользишь по поверхности, не пускаешь корней, и возрастающее легкомыслие, космополитизм и даже меркантильный дух, чем он, человек, отлично знающий жизнь, пожалуй, немного гордился, – все это незаметно для него самого разрушало ту стену, которой люди его круга отгораживаются от простых смертных. Упрямый, не отличающийся особенной тонкостью, хотя отнюдь не тупица в делах практических, он решительно плыл по течению, крепко держа в руках руль, не замечая, что попал в водоворот. Надо сказать, здравый смысл постоянно уводил его от крайнего ретроградства, столь свойственного его сыну Милтоуну, к консерватизму, несколько смягченному, который, живя на тот же духовный капитал, отлично умеет пользоваться всеми благами врага своего – прогресса.

Он сам вел автомобиль, сосредоточенно, но без всякого напряжения, надвинув фуражку на самые брови, из-под которых смотрели спокойные глаза; и хотя это неожиданное заседание кабинета во время перерыва на Троицу не только портило отдых, но и не могло не беспокоить, он был вполне способен радоваться быстрому, плавному движению и летнему ветерку, шелестевшему в вековых деревьях длинной аллеи и ласково овеивавшему лицо. Рядом молча сидела Энн. Катание в автомобиле было совсем новым развлечением, ибо дома это запрещалось, и в ее широко распахнутых глазах над дерзко вздернутым носиком светился задумчивый восторг. Она нарушила молчание лишь, когда, притормозив у ворот, они медленно проезжали мимо маленькой дочки привратника.

– Здравствуй, Сьюзи!

Ответа не последовало, но даже не слишком наблюдательный лорд Вэллис с удовлетворением заметил, как смиренно и восторженно смотрела на Энн

бледная, худенькая Сьюзи. «Да, – как будто без всякой связи подумал он, – в сердце своем Англия осталась неиспорченной!»

Глава II

Рэйвеншемхауз расположен на краю Ричмонд-парка; с тех самых пор, как вошло в моду селиться не слишком далеко от Вестминстера, он стал постоянной резиденцией семейства Кастерли; здесь, в просторной оранжерее, примыкающей к холлу, стояла перед японскими лилиями леди Кастерли. Она была невысока, худощава, с лицом цвета слоновой кости, тонким носом и пронизательными глазами, глядящими из-под полуопущенных, старчески морщинистых век. Неподвижная, седая, вся в сером, она была точно потускневшая от времени фигурка из стали. В сухой, тонкой, но еще крепкой руке она держала письмо, написанное крупным, размашистым почерком:

«Монкленд, Девоншир.

Дорогая матушка,

Джефри завтра едет в Лондон. По дороге он постарается заехать к Вам. Вновь вспыхнувшая угроза войны потребовала его присутствия в городе. Сама я туда не собираюсь, пока не будет избран Милтоун. По правде говоря, я боюсь оставлять его здесь одного. Он каждый день видится со своей Незнакомкой. Этот мистер Куртье, написавший книгу против войны, – большая дерзость со стороны человека, который сам был наемным солдатом, не правда ли? остановился в гостинице и ратует за радикального кандидата. Он тоже с ней знаком и – ради Милтоуна, – надеюсь, весьма коротко: он довольно привлекателен, с рыжими усами, мил в обращении и изрядный сумасброд. Только что явился Берти. Я постараюсь, чтобы он поговорил с Милтоуном, может быть, ему удастся выяснить, как обстоит дело. На Берти можно положиться, его не проведешь. Должна признать, что она очень недурна собой; но мы не знаем о ней решительно ничего, кроме того, что она разведенная. Не знаю, как людям удастся разузнать друг о друге? А чрезмерная щепетильность Милтоуна еще больше осложняет положение. Просто удивительно, до чего серьезно нынешние молодые люди смотрят на жизнь. Право, не помню, чтобы

в молодости я относилась ко всему с такой серьезностью».

Леди Кастерли опустила листок, украшенный графской короной. Тень усмешки скользнула по ее лицу: она-то не забыла, какой была в юности ее дочь. Потом снова принялась за письмо.

«Мы с Джеффри чувствуем себя куда более молодыми, чем Милтоун и Агата, хоть они наши дети. К счастью, Берти и Бэбс не таковы. Разговоры о войне очень способствуют успешному ходу предвыборной кампании. Клод Харбинджер тоже сейчас у нас и усердно помогает Милтоуну; но, по-моему, его больше всего интересует Бэбс. Даже грустно думать, ведь ей нет и двадцати... впрочем, что ж тут удивительного при ее наружности; а Клод и в самом деле очень мил. О нем сейчас много говорят; он один из самых выдающихся молодых тори».

Леди Кастерли снова опустила письмо и прислушалась. В оранжерею ворвался какой-то приглушенный шум, словно приветственные или возмущенные клики далекой толпы, – и сразу резко запахло лилиями, словно он разбудил дремавший в их матовых лепестках аромат. Она вышла в холл; там стоял бледный старик с длинными седыми бакенбардами.

– Что это за шум, Клифтон?

– Социалисты, миледи. Они идут в Пэтни, на манифестацию. А люди улюлюкают. Задержали их у самых ворот и не дают пройти.

– Они произносят речи?

– Да, что-то там разглагольствуют, миледи.

– Пойду послушаю. Подайте мне черную трость.

Над бархатно-темными, разлапистыми кедрами, которые, точно эбеновые пагоды, выстроились по обе стороны подъездной аллеи, нависла огромная сизая туча, казавшаяся еще более зловещей оттого, что в нее вонзался единственный белый луч. Под этим балдахином сбились в кучку на дороге усталые,

запыленные люди, заслоняя и ободряя возгласами оратора в черном. А вокруг, то и дело что-то выкликая, теснились мужчины и мальчишки.

Леди Кастерли и ее «мажордом» остановились в шести шагах от узорных чугунных ворот, наблюдая за происходящим. Хрупкая серо-стальная фигурка с серостальными волосами впечатляла своей неподвижностью куда больше, нежели крикливая и беспокойная толпа. Правой рукой она крепко стиснула набалдашник трости, и лишь глаза жили за полуопущенными веками. Оратор возмущался «эксплуатацией народа», иронизировал над христианской моралью, страстно требовал сбросить груз «бессмысленного военного налога», угрожал, что народ возьмет все в свои руки.

– Все это вздор, Клифтон, – сказала леди Кастерли через плечо. – Сейчас хлынет дождь. Я иду в дом.

Под каменным портиком она остановилась. Сизая туча раскололась; дождь в слепой ярости обрушился на толпу, и все бросились врассыпную. Слабая улыбка тронула губы леди Кастерли.

– Дождь охладит их пыл, это им на пользу. Скорей, Клифтон, вы промокнете. Я жду к обеду лорда Вэллеса. Приготовьте комнату, чтобы он мог переодеться. Он едет на автомобиле из Монкленда.

Глава III

В очень высокой полупустой комнате, обшитой белыми панелями, лорд Вэллис почтительно здоровался с тещей.

– Доехал за девять часов, сударыня... неплохая скорость.

– Рада вас видеть. Когда у Милтоуна выборы?

– Двадцать девятого.

– Только? Жаль! Ему бы следовало уехать из Монкленда, пока там живет эта... эта Незнакомка.

– А-а. Ну да, вы о ней уже слышали!

– Вы слишком беспечны, Джефри, – резко сказала леди Кастерли.

Лорд Вэллис улыбнулся.

– Эти разговоры о войне уже начинают надоедать. Мне не очень ясно, как к этому относятся в стране.

Леди Кастерли поднялась.

– Никак. Начнется война – и отношение будет самое правильное. Так всегда бывает. Пройдемте в столовую. Вы голодны?

О войне лорд Вэллис говорил как человек, который постоянно жил среди тех, кто вершит судьбы государства. Подобно тепличному растению, он просто не мог чувствовать, как обыкновенный садовый цветок. Но хотя он впитал в себя все предрассудки и привычки своего класса, он тем не менее жил жизнью, вовсе не обособленной от простых смертных. И как человек практический и здравомыслящий, в достаточной мере представлял себе, что думает средний англичанин. Вполне искренне он утверждал, что знает, чего хочет народ, лучше тех, кто много об этом болтает; так оно и было, ибо по складу характера он был ближе к простым людям, чем их вожди, хотя услышать это от кого-нибудь ему было бы, пожалуй, неприятно. Он был силен тем, что природа наделила его трезвой практичностью и начисто лишила воображения, а жизнь дала ему еще и пронизательность светского человека и политического деятеля. Положение обязывало его быть энергичным, но в меру и не стремиться доводить всякую идею до логического конца; не быть чересчур строгим в вопросах нравственности – до тех пор, пока сохранена видимость благопристойности; быть великодушным землевладельцем, пока это не затронет всерьез его интересов; покровительствовать искусствам, пока они не выйдут за рамки его понимания; положение обязывало его обладать тактом, зорким глазом, железными нервами и прекрасными манерами, чуждыми всякой манерности. По натуре же он был покладистый супруг, снисходительный отец, осторожный и честный политик, любил пожить в свое удовольствие, потрудиться и провести

досуг на свежем воздухе. Он ценил свою жену, нежно любил ее и ни разу не пожалел о своем выборе. Пожалуй, он никогда ни о чем не жалел, разве только о том, что до сих пор не выиграл дерби и не сумел вывести чистую, без примеси породу аспидных пойнтеров. Тещу свою он уважал, как можно уважать некий отвлеченный принцип. В этой маленькой старой леди, несомненно, таился огромный запас решимости, унаследованной от предков, уверенности в себе, свойственной лишь тем, чей авторитет никто и никогда не подвергал сомнению; а поскольку привычка к власти, в известной мере лишала ее воображения, она не допускала и мысли, что этот авторитет может подвергнуться сомнению в будущем. Она всегда знала, чего хочет, – не потому, что много об этом думала, нет, это было заложено в ее характере, деятельном и властном. В совершенстве зная внешнюю сторону общественной жизни – что необходимо людям ее класса, вооруженная традициями культуры – чего требовало ее положение, – движимая идеями – всегда, впрочем, одними и теми же, – не ведая над собой иного господина, кроме собственной жажды властвовать, она обладала умом грозным, как обоюдоострые мечи, которыми ее предки Фитц-Харольды разили врага под Аженкурор или Пуатье, – она инстинктивно не желала заглядывать ни в свою, ни в чужую душу и всячески противилась неразумным попыткам самоанализа, созерцания и душевного взаимопроникновения, – попыткам, столь пагубным для власть имущих. Если лорд Вэллис был остовом аристократической машины, то леди Кастерли была ее стальной пружиной. Всю жизнь она одевалась с подчеркнутой простотой, была умеренна и скромна в своих привычках; рано вставала, с утра до ночи была чем-нибудь занята и в семьдесят восемь лет оставалась крепче многих пятидесятилетних; у нее была лишь одна слабость, и в ней-то заключалась ее сила: она изрядно переоценивала роль, предназначенную ей в этом мире. Она была олицетворением своей касты, всего, чем эта каста сильна.

Она поразительно гармонировала со столовой, серые стены которой окаймлял широкий фриз в стиле Фрагонара, расписанный уже потускневшими нимфами и розами, и с мебелью, которая явно пережила свое время. Цветов на столах не было, если не считать пяти лилий в старинной серебряной чаше; на стене, над массивным буфетом, висел портрет покойного лорда Кастерли.

– Надеюсь, у Милтоуна есть какая-то своя линия? – спросила леди Кастерли сидевшего против нее зятя.

– В том-то и беда. Он страдает от своих распухших принципов... только бы помалкивал о них в своих речах.

– Пусть его. И как только пройдут выборы, увезите его подальше от этой женщины. Как там ее зовут?

– Что-то вроде миссис Ли Ноуэл.

– Давно она в ваших краях?

– С год как будто.

– И вы ничего о ней не знаете?

Лорд Вэллис пожал плечами.

– Ну, конечно! – сказала леди Кастерли. – Вы сидите у моря и ждете погоды. Я займусь этим сама. Полагаю, у Гертруды найдется для меня место в доме? А что общего с этой милой особой у вашего мистера Куртье?

Лорд Вэллис улыбнулся. В этой улыбке выразилась вся его светски учтивая и беспечная философия. «Я не вмешиваюсь не в свои дела», – казалось, говорила эта улыбка, и при виде ее леди Кастерли поджала губы.

– Он крамольник, – сказала она. – Я читала эту его книгу против войны... Весьма зажигательно. Целит в Гранта... и главным образом в Розенстерна. Я только что видела один из плодов его влияния у самых своих ворот. Толпу крикунов, которые против войны.

Лорд Вэллис подавил зевок.

– Вот как? А я и не подозревал, что Куртье может на кого-нибудь повлиять.

– Он опасный человек. Почти все эти идеалисты – ничтожества, но его книга умна.

– Хоть бы уж этим военным страхам пришел конец, из-за них обе страны выглядят преглупо, – сказал лорд Вэллис.

Леди Кастерли подняла бокал, до краев полный кроваво-красным вином.

- В войне наше спасение, - сказала она.

- Война не шутка.

- Она улучшила бы общее положение.

- Вы так думаете?

- Мы снова стали бы первой нацией в мире, а демократию отбросили бы назад на пятьдесят лет.

Лорд Вэллис машинально насыпал перед собою три кучки соли и так же машинально их пересчитал; потом пробормотал, иронически приподняв брови, словно ставя под сомнение собственную мысль:

- Я бы сказал, что по нынешним временам мы все демократы... Вы что, Клифтон?

- Шофер спрашивает, когда подать автомобиль?

- Сразу же после обеда.

Двадцать мотнут спустя он выезжал из чугунных, фигурного литья ворот на лондонскую дорогу. Смеркалось; вое новые облака разбредались по трепетному небу, казалось, сами не ведая куда. Видно, они обречены были скитаться без цели. Они столкнулись в небесах, точно стая гигантских птиц, и беспорядочно кружили, сходясь и вновь расходясь. Пахло сырой землей. Пыль прибило, и автомобиль быстро двигался сквозь сумрак, ощупывая фарами дорогу. На Пэтнейском мосту его задержала вереница фургонов. Лорд Вэллис огляделся по сторонам. Вода отражала тысячи огней: окна домов, громоздившихся по берегам, фонари набережных и стоявших на якоре барж. Змеящееся бледное тело реки, огромной, живой, от века спешащей к морю, не вызывало в его душе никаких образов. Много лет назад, когда он занимал высокий пост в министерстве торговли, он часто сталкивался с нею и хорошо ее изучил - бесстыдно грязную и всегда возмутительно худосочную как раз там, где ей нужно бы раздаться вширь. И все-таки, когда он закуривал сигару,

странное чувство шевельнулось в нем – словно перед ним была нежно любимая женщина.

«Дай бог, – подумал лорд Вэдлис, – чтобы все эти страхи кончились ничем».

Потом автомобиль снова заскользил по забитой всевозможными экипажами дороге к фешенебельному центру Лондона.

Но заголовки вечерних газет, вывешенных на Щитах перед лавками, отнюдь не обнадеживали.

ЗАГОВОР УСЛОЖНЯЕТСЯ

НОВЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ СТАНОВИТСЯ УГРОЖАЮЩИМ

И перед каждым щитом возникал маленький водоворот: прохожие, спеша узнать последние новости, взглядывали на заголовки, потом проталкивались назад и продолжали свой путь.

Оказывается, и ему, графу Вэллису, интересно, что они думают обо всем этом. Что же скрывается за этими бледными масками, обращенными к щитам? Думают ли они вообще, все эти простые, рядовые люди? Как относятся они к грозящей катастрофе? Одно лицо, другое, третье – тупые, безразличные, не выражающие ни желаний, ни тени воодушевления, ни даже страха. Бедняги! В конце концов что они могут поделаться – не больше, чем муравьи, когда какой-нибудь мальчишка мимоходом разрушает их муравейник. Да что и говорить, голос народа никогда, в сущности, не решал, быть войне или не быть. И лорду Вэллису вспоминались слова из статьи в радикальном еженедельнике, который он, как человек беспристрастный, заставлял себя читать: «Не знающий фактов, загипнотизированный словами «Отечество» и «Патриотизм»; в тисках стадного инстинкта и врожденного предубеждения против иностранцев; беспомощный по милости своего терпения, стоицизма, преданности и привычки полагаться на вышестоящих; беспомощный по милости слепой веры в знать и недоверия к себе подобным, беспечности и отсутствия гражданской ответственности, – как бессилён

и жалок перед лицом» войны простой смертный!» Впрочем, эта газета, бесспорно, неглупая, всегда казалась ему невыносимо напыщенной.

Едва ли ему удастся попасть в этом году на скачки в Аскот... На мгновение мысли его перенеслись к Казетте, его подающей надежды двухлетке; но, словно устыдившись, он снова вернулся к мыслям о войне: хорошо бы знать, готовы ли в адмиралтействе к любым неожиданностям? Сам он занимал в правительстве более спокойную должность, одну из тех, которые предоставляются опытным, нужным в кабинете людям, если для них нет в данный момент более ответственного поста. От адмиралтейства мысль его перескочила к теще. Поразительная старуха! Вот из кого получился бы отменный государственный деятель! Но и ретроградка же! Как сразу всполошилась из-за этой миссис Ли Ноуэл! И с удовольствием знатока он припомнил лицо и фигуру этой женщины, которую видел сегодня утром, проезжая мимо ее коттеджа. Какие бы тайны ее ни окружали, а привлекательности у нее не отнимешь! Изящная головка, темные волнистые волосы, разделенные пробором, прелестная фигура ничего лишнего. Да, хороша. Без сомнения, у нее есть прошлое, но это его не касается. Жалко, в сущности, таких женщин.

Колонна пехотинцев, возвращавшаяся с учений, задержала его автомобиль. Лорд Вэллис подался вперед, разглядывая их сосредоточенным, пристальным, оценивающим взглядом, каким он смотрел бы на свору гончих. Смутных дум и размышлений как не бывало. Отличный подбор – эти лицом в грязь не ударят. Все они раскраснелись после дня на свежем воздухе и смотрели кто равнодушно, кто с веселой напускной самоуверенностью; их-то уж, во всяком случае, не терзают ни отвлеченные сомнения, ни призраки ужасов войны.

Кто-то закричал: «Ура!», – в воздухе заколыхались поднятые шляпы, послышался сначала слабый и неуверенный, а затем нарастающий громкий гул приветствий – и разом оборвался. «Довольно энергично! – подумал лорд Вэллис. – Им много не надо! Воинственности нам не занимать». И при этой мысли он снова ощутил живейшее удовольствие.

Солдаты прошли, и автомобиль медленно двинулся следом, прокладывая путь сквозь толпу, хлынувшую за ними. Тут были мужчины – молодые и старые, и совсем мальчишки, были и женщины и молоденькие девушки; все они лишь мельком взглядывали на него, словно этот благополучный господин был слишком далек от их жизни, чтобы пробудить в них хотя бы минутное любопытство.

Глава IV

В этот самый час в Монкленде, в небольшой гостиной крытого соломой выбеленного домика, беседовали, сидя по обе стороны камина, двое мужчин; между ними, откинувшись на спинку низкого кресла, сидела темноглазая женщина и молча слушала, то складывая кончики пальцев, то разнимая, так что они розовели, просвечивая над огнем. Время от времени в камине падало полено, показывая рдеющий бок; казалось, белые стены комнаты впитали в себя свет лампы и огонь камина и теперь сами источали тепло. Залетевшие из темного сада серебристые мотыльки, подрагивая, как запущенные волчком серебряные монетки, вились над светло-зеленой вазой с алыми розами; здесь, как всегда, уютно пахло дымком из камина, травой, цветущим шиповником.

Человеку, что сидел слева от камина, было лет сорок; выше среднего роста, крепкий, энергичный, он держался очень прямо; его подвижное лицо поминутно вспыхивало, голубые глаза блестели. Волосы у него были красно-рыжие, и в огненных, длинейших, как у Дон Кихота, усах было что-то воинственное.

Человеку, сидевшему справа, было около тридцати. Высокий, гибкий и очень худой, он сидел, согнувшись в низком кресле, обхватив руками колено; в его смуглом, гладко выбритом лице с глубоко сидящими живыми глазами была своеобразная красота, губы трогала слабая принужденная улыбка.

На редкость несхожие, они поглядывали друг на друга, словно соседские псы, которые, давно убедившись, что лучше держаться друг от друга подальше, неожиданно встретились в таком месте, где никак нельзя затеять драку. А женщина наблюдала за ними, и хотя только один пес мог считаться своим, она, любя собак, готова была погладить и другого.

– Итак, мистер Куртье, – сказал тот, что помоложе; его сухой иронический тон, как и улыбка, казалось, служил защитой пылкой душе, что проглядывала в его взоре. – Все, что вы говорите, сводится просто к оправданию так называемого либерального духа; но, да простится мне моя прямота, дух этот, низведенный с высот философии и искусства в сферу практической деятельности, тотчас оказывается бессильным.

Рыжеусый рассмеялся; странно звучал этот смех – такой веселый и вместе с тем такой язвительный.

– Отлично сказано! Я и не собираюсь с вами спорить. Но так как вся соль политики – в компромиссе, первосвященники кастовости и власти, подобные вам, лорд Милтоун, столь же далеки от реальной политики, как любой либерал.

– Не согласен.

– Согласны вы или нет, но ваше отношение к жизни общества весьма похоже на отношение церкви к браку и разводу; церковь столь же далека от действительности, как и проповедники свободной любви, и столь же мало способна в ней разобраться. Ваша точка зрения обречена по самой своей сути она слишком нежизненная, слишком отвлеченная, чтобы вы могли понять истинное положение вещей. А не понимая, невозможно управлять. Уж лучше сидеть сложа руки, чем с вашими взглядами заниматься политикой!

– Боюсь, что мы с вами не найдем общего языка.

– Что ж, пожалуй, я требую от вас слишком многого. В конце концов вы ведь патриций.

– Вы говорите загадками, мистер Куртье.

Темноглазая женщина шевельнулась; руки ее слабо затрепетали, словно прося собеседников не враждовать.

Старший из них тотчас поднялся и почтительно сказал:

– Мы утомили миссис Ноуэл. Покойной ночи, Одри. Мне пора идти.

Дойдя до стеклянной двери, открытой в темный сад, он обернулся и сделал прощальный выпад:

– Я хотел сказать, лорд Милтоун, что вашему классу более чем кому-либо в Англии свойственна холодная расчетливость. Удивительно, что вы еще сохраняете способность мечтать. Покойной ночи!

Он вышел из комнаты и исчез в темноте.

Молодой человек не шелохнулся; пламя камина освещало его одухотворенное лицо, губы, рождало отблеск в глазах.

– Вы этому верите, миссис Ноуэл? – спросил он.

Вместо ответа Одри Ноуэл улыбнулась, встала и подошла к двери.

– А вот и мой милый лягушонок! Он навещает меня каждый вечер.

На каменном полу веранды, в потоке струившегося из комнаты света, сидел крохотный золотой лягушонок. Когда подошел Милтоун, он запрыгал в сторону и исчез.

– Как мирно у вас в саду! – сказал молодой человек; потом взял ее руку, нежно поднес к губам и так же, как и его противник, скрылся во тьме.

В саду и в самом деле царил глубокий покой. Ночь, казалось, вся обратилась в слух – все огни погашены, все сердца отдыхают. Глазами ясных звезд она заботливо глядела на каждое дерево, на каждую крышу, на сморенный усталостью цветок, точно мать, которая, склонясь над спящим младенцем, считает каждый его волосок и прислушивается к его дыханию.

Перед улыбкой этой ночи недавний спор казался бессмысленным, как детский лепет. И что-то от теплоты, от сладости этой ночи было в лице женщины, одиноко стоявшей у стеклянной двери. Чуткое, исполненное гармонии, оно не было холодным, как иные гармонически правильные лица, напротив трепетало, сияя глубоким внутренним светом, точно его осенил некий дух, нашедший наконец пристанище.

В бархатистой тьме сада с черными тенями тисов бодрствовали, казалось, только белые цветы, устремившие на Одри задумчивый взгляд. Деревья стояли темные, тихие. Ночные птицы – и те умолкли. Лишь ручеек в глубине сада подавал голос, обычно заглушаемый дневными шумами.

Одри Ноуэл всегда всем своим существом отзывалась на то, что ее окружало, она не умела быть равнодушной. Но в этот вечер она словно не замечала царившего вокруг покоя. Руки ее дрожали, щеки горели, грудь вздымалась, и вздохи слетали с полураскрытых губ.

Глава V

С тех пор, как Юстас Карадок, виконт Милтоун, начал постигать всю сложность бытия, он жил очень одиноко. В детстве единственным его другом был Клифтон, бабушкин дворецкий. Няни, гувернантки, наставники, по их собственному признанию, не понимали его, считая, что он чересчур серьезен и требователен к себе; доходило до того, что он не плакал и не жаловался, когда ему было больно, и это их даже слегка пугало. Почти все детство он провел в Рэйвеншеме, потому что леди Кастерли любила его больше всех своих внуков. Она угадывала в нем способность к самоограничению, которой не хватало ее дочери. Но одному только Клифтону, степенному пятидесятилетнему человеку с длинными черными бакенбардами, Юстас открывал свою душу.

– Я это вам рассказываю, Клифтон, потому, что вы мой друг, – говорил он обычно, сидя на буфете или на ручке большого кресла в комнате Клифтона или бродя с ним по малиннику.

И Клифтон, склонив голову набок, понимающе и с интересом слушал признания своего «друга», которые порой могли привести в замешательство, и время от времени вставлял: «Да, конечно, милорд», но чаще: «Да, конечно, милый».

Была в этой дружбе какая-то особая утонченная уважительность, ни один из «друзей» не позволял себе ни малейшей вольности; оба страстно любили голубей и могли часами с увлечением наблюдать за ними.

В должный срок, следуя семейной традиции, Юстас поступил в Хэрроусский колледж. Там он провел пять лет и все время оставался одним из тех малоинтересных, длинноруких и длинноногих подростков, что плетутся в одиночку к своему логову, приподняв одно плечо от привычки постоянно таскать что-нибудь под мышкой. Он не блистал в науках, нимало не считался с тем, что о нем подумают, притом у него был титул да еще злой язык, которого

все боялись, – все это спасло его от репутации «книжного червяка»; он оставался просто гадким утенком, не желавшим слишком послушно плавать по тинистым прудам школьных традиций. В спортивных играх он был так неловок, что товарищи из чувства самосохранения предоставляли ему заниматься спортом в одиночестве. Только для крикета они делали исключение: в этой игре он преуспевал, так как махал своими длинными руками, точно ветряная мельница крыльями. Он увлекался также рискованными химическими опытами и вечно колдовал над какими-то колбами, поначалу тайком, а потом с разрешения надзирателя, полагавшего, что уж если в какой-нибудь из комнат пансиона нельзя обойтись без зловония, пусть его разводят в открытую. Юстас мало с кем дружил, но дружба его была надолго. Его латинские стихи были из рук вон плохи, а греческие и того хуже, так что все изумились, когда в последний год учения оказалось, что он прекрасно пишет и говорит на родном языке. С колледжем он расстался без всякого сожаления. Но когда поезд тронулся и древний Холм со знакомым шпилем на вершине стал исчезать вдаль, он ощутил в горле ком, который никак не удавалось проглотить, и пришлось ему забиться в дальний угол купе и притвориться спящим.

В Оксфорде ему жилось не так тоскливо, хотя все-таки довольно одиноко; вначале, пока это было можно, он жил вне стен колледжа, а потом поселился в самом колледже, в уединенных, обшитых панелями комнатах под самой крышей, откуда видны были сады и кусок городской стены. Здесь, в Оксфорде, впервые зародилась столь характерная для него требовательность к себе. Он пристрастился к гребле, вошел в студенческую команду, и, хотя, по всему своему складу, мало для этого подходил, неизменно участвовал во всех гонках.

К концу состязаний он до того выбивался из сил, что даже не мог без посторонней помощи выйти из лодки, так как последнюю четверть пути держался одним только напряжением воли. Та же страсть к воспитанию воли руководила им при выборе факультета; он решил стать бакалавром искусств – весьма нелегкая задача при том, как плохо он владел греческим и латынью. С невероятным трудом он все же получил эту степень, да еще с отличием. Сверх того он не раз удостоивался высших университетских наград за английские сочинения. В обычных студенческих развлечениях он не участвовал. За все годы учения его ни разу не видели под хмельком. Он не ездил на охоту, никогда не вел разговоров о женщинах, и при нем никто не решался на это. Но порою его словно подхватывало вихрем, как бывает лишь с натурами аскетическими, и вся жизнь внезапно обращалась в пламя; оно пожирало его день и ночь, а потом, будто сжалившись, стихало бог весть отчего, точно кто-то задул свечу. Хоть он и не был человеком общительным в обычном смысле этого слова,

но в оксфордские годы его всегда окружали люди. У него был довольно широкий круг знакомств среди преподавателей и студентов старших курсов. Тех, кто способен отправиться в дальнюю прогулку ради удовольствия поболтать с приятелем, Юстас доводил до изнеможения своим стремительным шагом и решительным! нежеланием придерживаться какого-то определенного маршрута. Вся округа, от Абингдона до Бэблук-Хайт, хорошо его знала, хотя он не знал никого. Имя его произносили с уважением и в студенческом клубе, где он еще первокурсником отличился на диспуте о цензуре, необходимость которой отстаивал мрачно, упрямо и даже с каким-то юношеским пылом – и одержал бы победу, не встань тут некий ирландец и не заяви, что такая цензура ставит под угрозу даже Ветхий завет. На это Юстас возразил: «Лучше поставить барьер перед Ветхим заветом, чем совсем не будет никаких барьеров». Это принесло ему славу.

Он провел в Оксфорде четыре года и покинул его в растерянности, с ощущением утраты. Окончательное суждение Оксфорда о своем детище гласило: «Юстас Милтоун? Чудак! Но он еще себя покажет!»

Примерно в ту же пору у него произошел разговор с отцом, после которого каждый из них утвердился в своем мнении о другом. Разговор этот происходил в библиотеке усадьбы Монкленд в один из ноябрьских вечеров.

В библиотеке горели восемь свечей в тонких серебряных подсвечниках, по четыре с каждой стороны резного камина. Их мягкого сияния хватало лишь на небольшую часть погруженной во тьму просторной комнаты с панелями и паркетом черного дуба, уставленной книгами; здесь держался острый запах кожи и сухих розовых лепестков – щемящий аромат старины. Над огромным камином висел написанный неизвестным художником портрет того кардинала Карадока, который в шестнадцатом веке пострадал за веру; освещена была лишь половина его бритого лица. Изможденный аскет с запавшими глазами и едва уловимой усмешкой на губах, он, казалось, повелевал синеватыми языками пламени в камине.

И отцу и сыну нелегко было начать разговор.

У каждого было такое чувство, словно перед ним не родной отец или сын, а чей-то близкий родственник. В сущности, они встречались очень редко и не виделись уже довольно давно.

Первым заговорил лорд Вэллис: – Итак, мой милый, чем ты теперь намерен заняться? Я полагаю, мы сумеем провести тебя в парламент по нашему округу, если ты этого пожелаешь.

– Благодарю вас, – ответил Милтоун. – Об этом я пока не думаю.

Сквозь дымок сигары лорд Вэллис присматривался к длинной фигуре, утонувшей в кресле напротив.

– Почему же? – спросил он. – Чем раньше начать, тем лучше. Разве только ты хочешь отправиться вокруг света?

– Прежде чем утвердиться в свете?

Лорд Вэллис смущенно улыбнулся.

– Политика не требует специальной подготовки, всю эту премудрость можно превзойти мимоходом, – сказал он. – Сколько тебе лет?

– Двадцать четыре.

– Ты выглядишь старше. – Слабая морщинка прорезалась у него меж бровей: мерещится ему или в самом деле на губах Милтоуна змеится усмешка?

– Может быть, это и глупо, – произнесли эти губы, – но я считаю, что сперва следует изучить положение вещей. Чему я и намерен посвятить по меньшей мере пять лет.

Лорд Вэллис высоко поднял брови.

– Пустая трата времени, – сказал он. – Если ты войдешь в парламент сейчас же, ты через пять лет будешь все знать куда лучше. Ты слишком серьезно к этому относишься.

– Без сомнения.

Долгую минуту лорд Вэллис не находил ответа; он был несколько задет. Дождавшись, пока обида утихнет, он сказал:

– Что ж, мой милый, как тебе угодно.

Милтоун обучался профессии политика в трущобах; в имениях отца; изучая право; путешествуя по Германии, Америке и британским колониям; участвуя в предвыборных кампаниях; дважды он безуспешно пытался найти избирателей, которые не отступались бы от своих убеждений. Он много читал – медленно, но добросовестно и упорно: поэзию, историю, труды по философии, религии, социальным проблемам. К беллетристике, особенно иностранной, он был равнодушен. Больше всего он желал избежать узости и предвзятости и, однако, впитывал лишь то, что отвечало потребностям его натуры, бессознательно отвергая все, что могло как-то охладить жар его верований. Все, что он читал, лишь подкрепляло самые заветные его убеждения – плод его натуры. Презрение к мишурному блеску и пошлым забавам, которыми тешат себя богатство и знатность, соединялось у него со смиренной, но все растущей уверенностью в своей способности первенствовать, в своем духовном превосходстве над теми, чьему благу он желал служить. Бесспорно, у Милтоуна не было ничего общего с заурядными фарисеями, он был прост и прям; но его взгляд, жесты, весь его облик говорили о том, что есть в этом человеке некий тайный источник уверенности, колодец, глубин которого не потревожат никакие вспышки. Он был не лишен чувства юмора, но начисто лишен способности обратить это чувство на себя и подметить что-либо смешное в себе самом. Мир со всем, что в нем есть, представлялся Милтоуну в виде стрел, даже когда в действительности это были круги. Он словно не понимал, что вселенная в равной мере состоит из обоих этих символов, и никто еще пока не знает, как их примирить.

Таков он был к тому времени, когда член палаты общин от его родного округа был произведен в пэры.

Милтоун дожил до тридцати лет, но ни разу еще не был влюблен и жил в каком-то ожесточенном целомудрии, которому изменял лишь однажды. Женщины его боялись. И он, видимо, тоже их побаивался. В теории женщина была слишком прекрасной и манящей – словно молодой месяц в летнем небе; а в действительности оказывалась слишком слащавой или слишком грубой. Он был привязан к Барбаре, своей младшей сестренке, но мать, бабушка и старшая сестра Агата никогда не были ему близки. Забавно было видеть леди Вэллис рядом с ее первенцем. Ее осанистая фигура, цветущее лицо, серо-

голубые глаза, в которых вдруг вспыхивали искорки озорного смеха, – все это в присутствии Милтоуна начинало казаться нелепым и неестественным. Наделенная отменным здоровьем и величайшей непосредственностью, она привыкла говорить все, что придет в голову, и не чужда была мыслям и выражений почти рискованных. Никогда, даже в раннем детстве, Милтоун не баловал ее своим доверием. Она не сердилась на него за это: такие душевно и физически крупные, щедро одаренные природой люди редко огорчаются и редко чувствуют себя униженными в чьих бы то ни было глазах, даже в своих собственных; с людьми же из касты леди Вэллис этого не бывает никогда. Милтоун – странный мальчик и всегда был странный, только и всего! Но, вероятно, ничто так не смущало леди Вэллис, как его неумение держать себя с женщинами. Оно казалось ей противоестественным, так же как иные, должным образом замаскированные поступки мужа и младшего сына были, на ее взгляд, вполне естественны. Именно это чувство помогло ей, вечно погруженной в водоворот политики и светской жизни, с неожиданной ясностью понять, чем грозит Юстасу дружба с женщиной, осторожно упомянутой в письме под именем Незнакомки.

Дружба эта завязалась совершенно случайно. В декабре один из арендаторов упал с лошади и разбился насмерть; зайдя вечером на его ферму, Милтоун застал вдову, обезумевшую от горя, еле прикрытого сдержанностью человека, который почти потерял способность выразить то, что чувствует, и окончательно потерял ее в присутствии «господ». Милтоун уверил несчастную, что никто ее на улицу не выгонит, и, выходя, столкнулся на каменном крыльце с женщиной в меховом жакете и меховой шапочке; она держала на руках плачущего малыша с рассеченным до крови лбом. Милтоун взял у нее мальчика, отнес в комнату – и тут, подняв глаза, увидел прелестное лицо, полное печали и нежности. Он спросил ее, надо ли сказать матери. Она покачала головой:

– Не будем тревожить бедняжку; сначала займемся ребенком.

Они вместе промыли и перевязали рану. Потом она поглядела на Милтоуна, словно говоря:

«А теперь скажите ей, у вас это выйдет лучше».

Он сказал матери о случившемся, и незнакомка вознаградила его мимолетной улыбкой.

Он запомнил ее имя – Одри Ли Ноуэл, и прекрасное лицо под беличьей шапочкой все стояло у него перед глазами. Через несколько дней, проходя деревенским выгоном, он увидел, как она открывает калитку сада. Воспользовавшись случаем, он спросил, не нужно ли перекрыть крышу ее домика; последовал осмотр крыши и завязался разговор, который он не спешил окончить.

Для Милтоуна, привыкшего лишь к женщинам своего круга, где даже лучших, при всем их такте и непринужденности, лишенной всякого жеманства, великосветская жизнь приучила к чрезмерной самоуверенности, в кроткой темноглазой миссис Ноуэл, живущей, видимо, вдали от света, в ее робкой прелести таилось невыразимое очарование. Так из зернышка случайной встречи быстро расцвела та редкая между замкнутыми людьми дружба, которая почти сразу заполняет их жизнь.

Однажды она спросила:

– Вероятно, вы обо мне знаете?

Милтоун кивнул. В самом деле, ему рассказывал о ней приходский священник:

– Да, я слышал, невеселая у нее судьба... развод.

– Вы хотите сказать, муж потребовал развода? Или...

Священник как будто замялся, но лишь на мгновение.

– Нет, нет! Я убежден, что виновна не она. Мне кажется, она прекрасная женщина; хотя, к сожалению, не часто посещает церковь.

Милтоуну, в котором уже пробудился рыцарский дух, этого было достаточно. И когда она спросила, известна ли ему ее судьба, мог ли он беречь ее рану? Что бы ни было там, в прошлом, уж, конечно, она ни в чем не виновата... В душе он уже творил ее облик, преображая живую женщину в воплощение своей мечты...

На третий вечер после столкновения с Куртье Милтоун снова сидел в маленьком белом домике, притаившемся за высокой садовой оградой. Крытый побуревшей соломой, нависшей над старинными, проложенными свинцом рамами, он,

казалось, прятался от всего мира в кустах роз. Позади застыли, словно на страже, две сосны, распластав темные ветви над пристройками, и, едва поднимался юго-западный ветер, принимались угрюмо жаловаться друг другу на непогоду. Сад окаймляли высокие кусты сирени, а на соседнем поле вздыхала и шелестела листвой старая липа; в безветренные дни там слышалось дремотное жужжание несчетного множества золотистых пчел, облюбовавших эту зеленую гостиницу.

Он застал Одри за переделкой платья; она склонилась над шитьем на свой особый, милый лад, словно чувствуя, что все вокруг – платье, цветы, книги, ноты – равно ждет ее внимания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/golsuorsi_dzhon/patriciya

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)